

A black and white portrait of Yuri Levitan, an older man with a mustache, looking directly at the camera. The image has a torn paper effect on the left side.

ФОТО: В. СЛОТНИКОВ

**юрий
ЛЕВИТАНСКИЙ**

черно-белое
кино

Юрий Давыдович Левитанский

Черно-белое кино (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8484177

Черно-белое кино: Время; Москва; 2005

ISBN 978-5-9691-0993-3

Аннотация

В это наиболее полное собрание сочинений Юрия Давыдовича Левитанского вошли все стихи, опубликованные при жизни поэта, включая последний прижизненный сборник «Белые стихи». Книгу завершает подборка стихов из неопубликованного, в том числе из цикла «Песни городской рекламы».

Содержание

Стороны света (1959)	6
«Что я знаю про стороны света?...»	6
«В ожидании дел невиданных...»	8
«Грач над березовой чащей...»	10
«Откуда вы приходите, слова...»	11
Пейзаж	13
Мальчики	15
«За стеною – голоса и звон посуды...»	19
«То снега да снега...»	20
В оружейной палате	22
Первая кровь	24
«Каждое утро ходит отец за хлебом...»	26
«В городском нестройном гомоне...»	27
Синяя лампочка	28
«Окна домов...»	30
«Древнее, неразгаданное пространство...»	31
Огонь	33
Надпись на камне	35
Ледяная баллада	37
«Промельк мысли. Замысел рисунка...»	38
Птицы в Кишиневе	40
«К птичьему прислушиваюсь крику...»	42
Как отдыхает вино	44

Женщина, которой ничего не нужно	46
«Вот мною не написанный рассказ...»	47
Рубеж	50
«Не там, где сходятся...»	51
«Моя любовь к тебе – как горная вершина...»	53
«С мокрой травы в лесу...»	54
«Не бойся явных – бойся тайных тюрем...»	55
«Лес лопочет у окна...»	57
«Как медленно тебя я забывал!..»	58
Румынские цветы	59
«К морю стремился...»	60
«Где-то в городе белом...»	61
«Как я спал на войне...»	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Юрий Левитанский

Черно-белое кино

© Юрий Левитанский, 2005

© «Время», 2005

* * *

Стороны света (1959)

«Что я знаю про стороны света?...»

Что я знаю про стороны света?
Вот опять, с наступлением дня,
недоступные стороны света,
как леса, обступают меня.
Нет, не стороны те
и не страны,
где дожди не такие, как тут,
где деревья причудливо странны
и цветы по-другому цветут,
где природы безмерны щедроты
и где лето полгода в году, —
я сегодня иные широты
и долготы имею в виду.
Вот в распахнутой раме рассвета
открываются стороны света.
Сколько их?
Их никто не считал.
Открывается Детство и Старость,
открывается Злоба и Ярость,
море Нежности,
озеро Жалость

открывается в раме окна,
и глухие низины Порока,
и Любви голубая дорога,
и в тумане багровом Война,
— есть такая еще сторона
с небесами багрового цвета, —
и река под названием Лета,
где живет перевозчик Харон...
Ах, как много у света сторон!
Все они обступают меня,
проступают во мне,
как узоры на зимнем окне,
а потом они тают
и вновь открываются в раме рассвета,
незнакомые стороны света.

«В ожидании дел невиданных...»

В ожидании дел невиданных
из чужой страны,
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришел с войны.
Огляделся. Над белым бережком
бегут облака.
Горожанки проносят бережно
куски молока.
И скользят, на глаза на самые
натянув платок.
И полозья скрежещут санные,
и звенит ледок.
Очень белое все и светлое —
ах, как снег слепит!
Начинаю житье оседлое,
позабытый быт.
Пыль очищена, грязь соскоблена,
и — конец войне.
Ничего у меня не скоплено,
все мое — на мне.
Я себя в этом мире пробую,
я вхожу в права.
То с ведерком стою над прорубью,
то колю дрова.
Растолку картофель отваренный —

и обед готов.

Скудно карточки отоварены
хлебом тех годов.

Но шинелка на мне починена,
нигде ни пятна.

Ребятишки глядят почтительно
на мои ордена.

И пока я гремлю, орудуя
кочергой в печи,
все им чудится – бьют орудия,
трубят трубачи.

Но снежинок ночных кружение,
законный свет —
словно полное отрешение
от прошедших лет.

Ходят ходики полусонные,
и стоят у стены
сапоги мои, привезенные
из чужой страны.

«Грач над березовой чащей...»

Грач над березовой чащей.
Света и сумрака заговор.
Вечно о чем-то молчащий
неразговорчивый загород.
Лес меня ветками хлещет
в сумраке спутанной зелени.
Лес меня бережно лечит
древними мудрыми зельями.
Мягкой травой врачует —
век исцеленному здравствовать,
посох дорожный вручает —
с посохом по лесу странствовать.
Корни замшелого клена
сучьями трогаю голыми,
и откликается крона
дальними строгими гулами.
Резко сгущаются тени.
Перемещаются линии.
Тихо шевелятся в тине
странные желтые лилии.
Гром осыпается близко,
будит округу уснувшую.
Щурюсь от быстрого блеска.
Слушаю. Слушаю. Слушаю.

«Откуда вы приходите, слова...»

Откуда вы приходите, слова,
исполненные доброго доверья?
По-моему, оттуда, где трава.
По-моему, оттуда, где деревья.
Нам переходы света и теней
за древними лесными деревьями
покажутся резными теремами,
возникшими из света и теней.
А дальше будет глуше и темней,
и тропка лисья станет неприметной.
Она и вправду стала неприметной,
а все-таки давай пойдем по ней,
пойдем на ошупь, ветки раздвигая.
Эге-ге-гей! Ну где же вы, слова?
«Слова, слова!...» – вздыхают робко листья,
и тропка поворачивает лисья туда,
где в листьях прячется сова.
А может, так же прячутся слова
за пнями и замшелыми камнями?
Слова – они, наверное, корнями,
как деревья, уходят в глубину.
И тропка нас уводит в старину,
туда, где бродит пращур волосатый
по травам, не имеющим названья,
где снег летит, не названный еще,

поет еще не названная птица и звезды,
у которых нет названия,
в дремучих отражаются очах.
И пращура охватывает трепет,
едва доходит до его сознания,
какая тяжесть на его плечах.
В нем глухо пробуждается художник,
и, сладкие испытывая муки,
он ждет вас, нерожденные слова.
Он что-то удивительное лепит,
мешая краски, запахи и звуки.
Сначала это только смутный лепет,
и вдруг он превращается в слова.
Тогда травой становится трава,
а этот сумрак зыблющийся – лесом,
а этот холод падающий – снегом,
а это чудо маленькое – птицей.
И я беру из рук его слова.
Они еще звенят, как тетива
и как стрела, что пущена из лука.
Они из цвета, запаха и звука.
На них еще не высохла роса.
В них травы отразились и деревья.
И у меня кружится голова,
пока я их несу тебе —
слова,
исполненные доброго доверья.

Пейзаж

Горящей осени упорство!
Сжигая рощи за собой,
она ведет единоборство,
хотя проигрывает бой.
Идет бесшумный поединок,
но в нем схлестнулись не шутя
тугие нити паутинок с тугими каплями дождя.
И после краткой подготовки,
над перелеском покружив,
повалят листья, как листовки, —
сдавайся, мол, покуда жив.
И сдачи первая примета —
белесый иней на лугу.
Ах, птицы, ваша песня спета,
и я помочь вам не могу...
Таков пейзаж. И если даже
его озвучить вы могли б —
чего-то главного в пейзаже
недостает, и он погиб.
И все не то, все не годится —
и эта синь, и эта даль, и даже птица,
ибо птица —
второстепенная деталь.
Но, как бы радуясь заминке,
пока я с вами говорю,

проходит женщина в косынке
по золотому сентябрю.
Она высматривает грузди,
она выслушивает тишь,
и отраженья этой грусти
в ее глазах не разглядишь.
Она в бору – как в заселенном
во всю длину и глубину
огромном озере зеленом,
где тропка стелется по дну,
где, издалёка залетая,
лучи скользят наискосок
и, словно рыбка золотая,
летит березовый листок.
То простодушно-величава,
то целомудренно-тиха,
она идет,
и здесь начало
картины, музыки, стиха.
А предыдущая страница,
где разноцветье по лесам, —
затем, чтоб было с чем сравниться
ее губам, ее глазам.

Мальчики

Из старой тетради

Мальчики как мальчики —
дерутся,
меняются марками,
а едва городские сумерки
за окном растают,
занавесив лампы
газетами или майками,
мальчики читают,
мальчики читают.
Взмыленные лошади
мчатся по полям и по рощам.
Бородатые всадники
пьют воду из медных фляг.
Летит бригантина,
и ветер над ней полощет
с белым черепом
черный пиратский флаг.
А они упрямо отсчитывают
версты и мили.
А они до рассвета не гасят огонь.
Мальчики живут еще
в придуманном мире
скальпов,

томагавков
и дерзких погонь.
Еще к ним придет
та нелегкая доблесть,
тот ответ за обещанное
«всегда готов!».
На них уже бросили
грозный отблеск
малые войны тридцатых годов.
По ночам через город
войска идут на ученье.
Тишина над городом как часовой стоит.
Тишина эта тоже подчеркивает
значение
того, что завтра
мальчикам предстоит.
Еще их фамилий
не знают военкоматы.
Еще невелик
их начальный житейский опыт.
Но время,
неумолимое,
как слова команды,
уже их зовет,
и требует,
и торопит.
Весь день сегодня в городе
мимозой торговали,
и на карнизах голуби

влюбленно ворковали.

А я припомнил белую
сирень, ее метели, —
над нею, над победною,
колокола гудели.

И я припомнил черные
от копоти соборы —
там дымом прокопченные
работали саперы.

Сапер с миноискателем
в своей работе точен.

Он, как хирург со скальпелем,
на ней сосредоточен.

И я припомнил добрую
саперную работу.

Я сам веду подобную
саперную работу.

Сквозь перекрытья грузные
и сросшиеся камни
глаза я вижу грустные,
как дождевые капли.

За той стеной парадною,
где вывеска прибита,
сейчас, как мина, спрятана
вчерашняя обида.

О, только бы не смели вы
обиде поддаваться!

О, только б не успели вы
на mine подорваться!

Сквозь шторы невесомые,
сквозь плотные ворота
веди меня, бессонная
саперная работа!

«За стеною – голоса и звон посуды...»

За стеною – голоса и звон посуды.
Доводящие до умопомраченья
разговоры за стеною, пересуды
и дебаты философского значенья.
Видно, за полночь. Разбужен поневоле,
я высказываю из-под одеяла.
Что мне снилось?
Мне приснилось чисто поле,
где-то во поле березонька стояла.
Я кричу за эту стену: – Погодите!
Ветер во поле березу пригибает.
Одевайтесь, – говорю, – и выходите,
где-то во поле береза погибает!
Пять минут, – кричу, – достаточно на сборы.
Мы спасем ее от ветра и мороза!.. —
Пересуды за стеною, разговоры.
Замерзает где-то во поле береза.

«То снега да снега...»

То снега да снега,
то трава эта вешняя.
А тайга – все тайга.
А тайга – она вечная.
От ее пространств,
от ее безбрежности —
этот дух спокойствия
и безгрешности.
Топором рубили,
и огнем губили —
а ее не кончили,
а ее не убили.
Где-то рухнула лиственница,
и упала, и смолкла.
Где-то смолка закапала,
обгоревшая смолка.
Повалилась береза,
топором изувеченная.
А она – все такая же.
А она – извечная.
Неприметны рубцы ее,
не видны переломы
за ее буревалами,
сквозь ее буреломы.
Только волны зеленые

ветер гонит по склонам.
Что – отдельное дерево
в этом мире зеленом?
Просто рухнула лиственница,
и упала, и смолкла,
Просто смолка закапала,
обгоревшая смолка,
как росинка незрячая,
как слезинка невинная,
вся почти что прозрачная
и почти что не видная.

В оружейной палате

Не березы, не рябины и не черная изба —
всё топазы, всё рубины, всё узорная резьба.
В размышленья погруженный средь музейного добра,
вдруг я замер, отраженный в личном зеркале Петра.
Это вправду поражало: сколько лет ни утекло,
все исправно отражало беспристрастное стекло —
серебро щитов и сабель, и чугунное литье,
и моей рубахи штапель, и обличие мое.
...Шел я улицей ночью, раздавался гул шагов,
и мерцало надо мною небо тысячи веков.
И под этим вечным кровом думал я, спеша домой,
не о зеркале Петровом — об истории самой,
о путях ее негладких, о суде ее крутом
без опаски, без оглядки перед плахой и кнутом.
Это помнить не мешает — сколько б лет ни утекло,
все исправно отражает неподкупное стекло.
Люблю осеннюю Москву в ее убранстве светлом,
когда утрами жгут листву, опавшую под ветром.
Огромный медленный костер в конце аллеи где-то
гудит, как траурный костел, — там отпевают лето.
И тополь гол, и клен поник, стоит, печально горбясь.
И все-таки своя у них, своя у листьев гордость.
Ну что с того, ну что с того, что смяты и побиты!
В них есть немое торжество предчувствия победы.
Они полягут в этот грунт, собой его удобрят,

но их потомки их потом припомнят и одобряют.
Слезу случайную утрут, и в юном трепетанье
самопожертвенный их труд получит оправданье.
...Парит, парит гусиный клин, за тучей гуси стонут.
Горит, горит осенний клен, золою листья станут.
Бульвар ветрами весь продут, он расстается с летом.
А листья новые придут, придут за теми следом.

Первая кровь

Из старой тетради

А первую кровь мы видели так.
Снегом нас обдавая,
легкие танки берут разбег,
выскочив на большак.
Дымное зарево впереди.
Скоро передовая.
Сбоку идет старшина Свиридов,
командует —
шире шаг!
Потом обгоняют нас на рысях
конники в вихре белом.
У эскадронного – белый чуб
да на щеке рубец.
У эскадронного по бокам —
шашка и парабеллум,
лихо несет его вороной
в яблоках
жеребец.
А нам шагать еще и шагать —
служба наша такая.
Мы, говорят, царица полей —
это, конечно, так.
Нам шагать себе и шагать,

службу не попрекая,
сбоку идет старшина Свиридов,
командует —
шире шаг!

И вдруг навстречу нам, из леска,
словно бы от погони,
оттуда, где орудийный гром
ухает без конца,
мчатся лошади без людей,
дикие скачут кони,
кровь на загривке у вороного
в яблоках
жеребца.

Так и запомнилось навсегда.

Дикие кони скачут.

Черная лошадиная кровь
падает на большак.

Дымное зарево впереди.

Бабы в деревне плачут.

Сбоку идет старшина Свиридов,
командует —
шире шаг!

«Каждое утро ходит отец за хлебом...»

Каждое утро ходит отец за хлебом.
В булочной рядом он покупает хлеб.
Он возвращается с черным и белым хлебом
и режет торжественно черный и белый хлеб.
Сердится мама: – Куда нам так много хлеба!
Вот и вчерашний даже не съели хлеб... —
Но завтра опять берет он две булки хлеба
и режет старательно черный и белый хлеб.
Милые, полно, чего уж тут пререкаться!
Ведь между вами других разногласий нет.
...О, голодная память далеких эвакуации,
трудная память наших военных лет!

«В городском нестройном гомоне...»

В городском нестройном гомоне,
в людном гомоне и гуле
по асфальту бродят голуби —
гули-гули, гули-гули.
Как под сводом тихой горницы,
как в домашней обстановке,
бродят турманы и горлицы
у трамвайной остановки.
Между рельсами похаживают,
как привычную тропой.
За ними бережно ухаживают,
кормят пшенной крупой.
И они отяжелели,
ожирели,
дышат еле.
От крупы и отрубей —
сытно, жарко.
Крошки хлебные глотают,
высоко не залетают.
Мне их, сытых голубей,
сильно жалко.

Синяя лампочка

Это дело давнее. Не моя вина.
Увезла товарищей финская война.
Галочкой отметила тех, что в строю.
– Рано! – ответила на просьбу мою.
Я остался дома. По утрам в Сокольники
почта приносила письма-треугольники.
О своих раненьях и обмороженьях
товарищи писали в кратких выраженьях.
Ждать их наказывали. Нас мучила совесть.
Мы на хлеб намазывали яблочный соус.
Зимняя нас лавочка у ворот сводила.
Синяя лампочка у ворот светила.
Письма читали синими глазами.
Девушки плакали синими слезами...
Это дело давнее. Не моя вина.
Выпала мне дальняя, долгая война.
В рамах оконных стекла дрожали.
В ямах окопных сверстники лежали.
Мины подносили руками усталыми.
Глину месили сапогами старыми.
И домой вернулись старыми бойцами,
в мятых гимнастерках, с чистыми сердцами...
Это дело давнее. Не моя вина.
Под холмом могильным зарыта война.
Зарыта, забыта, но, душ леденя,

Синяя лампочка смотрит на меня.

Синяя лампочка стоит перед глазами.

Девушки плачут синими слезами.

Синие отсветы лежат на снегу.

Выключить лампочку никак не могу.

«Окна домов...»

Окна домов, улиц ночных удивительные глаза!

Детские сны вы мои окружали.

Помните, как на войну провожали

Помните, окна, была гроза?

Как вы печально тогда дрожали.

Дальние зарева отражали.

Окна – и вдруг на стекле слеза.

О, как всегда меня поражали

эти загадочные глаза!

Окна домов, вы меня встречали

светом веселья, цветом печали.

Лампа горит, абажур, свеча ли —

тысячи окон, тысячи глаз.

Эти взирают на мир надменно,

эти бесстрастно, недоуменно,

эти так горестно и смиренно —

веки опущены, свет погас.

Где бы ни жил, куда ни поеду,

с вами люблю затевать беседу,

то ли по свету, то ли по цвету

вдруг угадать, что таится за...

Вечер, опять тебя жду затем лишь,

что в темноте ты опять затеплишь

окна домов, улиц ночных удивительные глаза.

«Древнее, неразгаданное пространство...»

Древнее, неразгаданное пространство
смотрит на землю холодно и бесстрастно.
В темных глубинах маленькой светлой точкой
спутник сейчас проходит орбитой точной.
Чтоб заглянуть в безвестные те высоты,
ни к чему ни двадцатый этаж, ни сотый.
Лучик зеленый, парящий в туманных сферах,
виден отчетливо в этих осенних скверах,
где под грибком раскрашенным из фанеры
утром играют в шашки пенсионеры,
где возле булочной пахнет горячей сдобой —
здесь, на земле этой будничной, строгой и доброй.
А помню еще — за звездным полетом
я наблюдал и в поле однажды летом.
И был он так ясен в поле под черным небом,
в поле, где сладко пахло печеным хлебом,
где и доселе темные эти дали
все еще что-то помнили о Дедале,
смутное что-то, темное об Икаре,
что-то о божьем гневe, о божьей каре.
Там, над обрывом, тополи шелестели,
словно бы крылья в небо взлететь хотели,
словно бы крылья в небо взлететь пытались,

путались, расплетались, переплетались,
и за ночным овином, за старой ригой,
где-то за дальним лугом, над темным логом,
все раздавалось – прыгай, Иване, прыгай! —
все шелестело – с богом, Иване, с богом!

Огонь

Печной огонь.
Ночной огонь на Трубной.
Ручной, и неопасный потому.
А он живет своею жизнью трудной,
и незачем завидовать ему.
Не то что в керогазах —
в паровозах
не смеет он считать себя огнем.
Он всем необходим.
Но в малых дозах.
Чтоб суп варить.
Чтоб руки греть на нем.
А у него огромные размеры,
и, полумеры люто не терпя,
он иногда теряет чувство меры,
стремясь полнее выразить себя.
Его солдаты яры
и поджары.
Едва дозоры
скроются на миг —
он тут как тут.
Тогда гудят пожары.
И разговор ведется напрямик.
Одна вода, вода его тревожит.
Она одна грозит ему бедой.

Он все урегулировать не может
взаимоотношения с водой.

Тут он молчит.

Он вынужден смиряться.

Урчит печурка.

Тлеет головня.

И все-таки воздержимся

смеяться

над видимой покорностью огня.

Надпись на камне Джордано Бруно

Даже в малые истины людям не сразу верится.
И хотя моя истина так проста и неоспорима,
но едва я сказал им, что эта планета вертится,
я был тотчас же проклят святыми отцами Рима.
Вышло так, что слова мои рушат некие правила,
оскверняют душу и тело бросают в озноб.
И стал я тогда опасным агентом дьявола,
ниспровергателем вечных земных основ.
На меня кандалы не надели, чтоб греб на галере,
свой неслыханный грех искупая в томительном плаванье,
а сложили костер, настоящий костер, чтоб горели
мои грешные кости в его очистительном пламени.
Я заглатывал воздух еще не обугленным ртом.
Сизоватым удушливым дымом полнеба завесило.
Поначалу обуглились ноги мои, а потом
я горел, как свеча, я потрескивал жутко и весело.
Но была моя правда превыше земного огня
и святейших соборов, которыми труд мой не признан.
О природа, единственный бог мой! Частица меня
пребывает в тебе и пребудет отныне и присно!
Остаюсь на костре. Мне из пламени выйти нельзя.
Вот опять и опять мои руки веревками вяжут.
Но горит мое сердце, горит мое сердце, друзья,

и в глазах моих темных горячие искорки пляшут.

Ледяная баллада

Из старой тетради

Скоро месяц выйдет. Суля беду,
он встанет с левой руки.

Обдирая ладони, ползем по льду,
по шершавому льду реки.

(Дома, наверное, спят давно.

Ставень стучит в окно.)

Тень часового. Удар клинка.

Ракет осторожный свет.

Короткий бой, и жизнь коротка,
как светящейся пули след.

(Дома, наверное, спят давно.

Ставень стучит в окно.)

А глаза бойца затянуло льдом,
и рука холодна, как лед.

Похоронная – это будет потом,
нескоро она придет.

(Дома, наверное, спят давно.

Ставень стучит в окно.)

«Промельк мысли. Замысел рисунка...»

Промельк мысли. Замысел рисунка.
Поединок сердца и рассудка.
Шахматная партия. Дуэль.
Грозное ристалище. Подобье
благородных рыцарских турниров —
жребий брошен, сударь, нынче ваш
выбор — пистолеты или шпаги.
(Нотные линейки. Лист бумаги.
Кисточка. Палитра. Карандаш.
Холст и глина. Дерево и камень.)
Сердце и рассудок. Лед и пламень.
Страсть и безошибочный расчет.
Шахматная партия. Квадраты
белые и черные. Утраты
все невосполнимее к концу
Сердце, ты играешь безрассудно.
Ты рискуешь. Ты теряешь в темпе.
Это уже пахнет вечным шахом.
Просто крахом пахнет, наконец.
А рассудок — он играет точно
(ход конем — как выпад на рапире!),
он, рассудок, трезво рассуждает,
все ходы он знает наперед.

Вот он даже пешку не берет.

Вот он даже сам предупреждает:
что вы, сударь, что вы, так нельзя,
шах, и вы теряете ферзя —
пропадает ваша королева!..

Но опять все так же где-то слева
раздается мерный этот звук —
тук да тук, и снова — тук да тук
(сердце бьется, сердце не сдается),
тук да тук, все громче, тук да тук
(в ритме карандашного наброска,
в ритме музыкального рисунка,
в ритме хореической строки) —
чтоб всей силой страсти и порыва,
взрыва, моментального прорыва,
и, в конце концов, ценой разрыва
победить, рассудку вопреки!

Птицы в Кишиневе

В Кишиневе, зимой, а точнее говоря – в декабре, я внезапно услышал, как птицы поют на заре. Где-то снег порошил, и морозы в ту пору крепчали, а у нас под окошком по-летнему птицы кричали. Приходили ко мне, по карнизу смешно семеня, и стучали в окно, и пораньше будили меня. Ах, как птицы галдели! Нисколько они не смущались. И мои представления о времени года смещались. Все не верилось мне, что в разгаре зимы, в декабре, могут птицы, совсем как в июне, кричать на заре. – Что вы, птицы? – я спрашивал. – Что вы затеяли, птицы?

Разве нету у лета границы, где стынут криницы, где грачи не кричат, где мороз продирает галчат? Разве нету у лета границы, где птицы молчат? — Со своей высоты, проявляя ко мне снисхождение, отвечали мне птицы: – Понятно твое заблуждение! Лишь одно неприятно – что ты недоверчивым стал: даже нам, даже птицам, ты верить уже перестал! Ну, а есть ли у лета граница? Едва ли, едва ли. Просто лето зимою хранится в глубоком подвале. Где-то в темном подвале хранится оно, как вино. Если хочешь – услышишь, как бродит и дышит оно!.. — Так сказали мне птицы. Но, в зимнюю веря погоду, за стеной уже елку готовили к Новому году

и охапками целыми вату носили домой,
клали вату на ветки, довольны своею зимой.
Я не ватному снегу – я птицам веселым поверил.
И сейчас же откуда-то ветер июньский повеял,
и трава поднялась, и тутовник зацвел во дворе...
Вот что было со мной в Кишиневе зимой в декабре.

«К птичьему прислушиваюсь крику...»

К птичьему прислушиваюсь крику.
Вижу только море вдалеке.
Море ходит. Море пишет книгу.
Книгу о себе. О старике.
Сети. Сеть ошибок. Сеть сединок.
Медленно стихающий прибой.
Что такое старость? Поединок.
С берегами. С временем. С судьбой.
Днища рассыхаются у лодок.
Черный борт ракушками оброс.
Призрачность улова. Сеть уловов.
Кто кого? Неведомо. Вопрос.
Как в корриде, перед мордой бычьей.
Та же несущественность улик.
Быть с добычей – или стать добычей.
Только это. Выбор невелик.
Только это. Прочее – подробности.
Этим и подробности полны.
Ощущенье краткости и дробности.
Напряженной сжатости волны.
Только волны. Волны, за которыми
набегают волны, в свой черед.
Это все подчеркнуто повторами.

Взад-вперед. И снова – взад-вперед.
Белый – синий. Белый цвет и синий.
Дни и годы. Годы и века.
Та же повторяемость усилий.
То же повторение рывка.
Поплавок неверен и обманчив.
По воде расходятся круги.
И тогда на свет выходит мальчик.
Он глядит на свет из-под руки.
Сети. Сеть ошибок. Сеть сединок.
Слабенькая детская рука.
Вьется леска. Длится поединок.
Лишь вода – темна и глубока.

Как отдыхает вино

Знаете, как отдыхает вино?

Сорок дней и ночей, погруженное в сон,
то бормочет оно, то вздыхает.

Винодел на дубовые бочки глядел
и почтительно так говорил винодел:

— Здесь вино отдыхает!

Тише, тише! Здесь дремлет языческий бог!

Молодой и веселый языческий бог
в тесной люльке дубовой вздыхает.

До чего ж ему крепко намяли бока!

Он еще им покажет себя, а пока
он в покоех своих отдыхает.

Беспокойные сны его так неясны —
сорок дней и ночей он какие-то сны
непонятные видит.

Но однажды, презрев этот сонный покой,
он о днище дубовое двинет ногой
и на улицу выйдет.

У него вся рубаха расшита огнем,
и высокая черная шапка на нем
из бараньего меха.

Как швырнет он о землю ее сгоряча
и пойдет по дорогам бродить, гогоча
и шатаясь от смеха.

Приступая к язычески щедрым дарам,

будут жирных баранов колоть по дворам,
и под окнами, шуму наделав,
он пройдет, выгибая насмешливо бровь,
ощущая, как бьется в нем крепкая кровь
виноградарей и виноделов.

А пока в погребах ему зреть – в погребах,
где дощатый настил виноградом пропах,
он лежит до поры, отдыхает.

Тише, тише! Здесь дремлет языческий бог.
Молодой и веселый языческий бог
в тесной люльке дубовой вздыхает.

Женщина, которой ничего не нужно

Что вы с собой делаете? Что вы себе думаете?
Ничего не делаете. Ни о чем не думаете.
Пусто засыпаете. Пусто просыпаетесь.
Да и то лишь кажется, будто просыпаетесь.
В накуренном зеркале – ваши руки дремлющие,
ваши губы дремлющие, ничего не требующие.
И кровать спальная – будто место лобное.
Что-то в груди треснуло. Что-то в душе лопнуло.
Под упругим свитером все мертво-мертвенно.
Сигарета с фильтром дымит, дымит медленно.
А много ли истрачено того тепла женского?
Давно война кончена, и спросить не с кого.
А вы все боль копите, в вине горе топите —
то ли горе топите, то ли в море тонете.
Тонете, тонете, уже не просыпаетесь,
и лишь на дне снится вам, что вы просыпаетесь.

«Вот мною не написанный рассказ...»

Вот мною не написанный рассказ.

Его эскиз.

Невидимый каркас.

Расплывчатые контуры сюжета.

А самого рассказа еще нет,

хотя его навязчивый сюжет

давно меня томит,

повелевая —

пиши меня,

я вечный твой рассказ,

пиши меня

(и это как приказ),

пиши меня

во что бы то ни стало!..

Итак, рассказ о женщине.

Рассказ

о женщине,

которая летала,

и был ее спасительный полет

отнюдь не цирковым аттракционом,

а поиском опоры и крыла

в могучем поле гравитационном

земных ее бесчисленных тягот...

Таков сюжет,

уже который год

томящий мою душу неотступно —
не оттого ль,
что, как сказал поэт,
я с давних пор,
едва ль не с детских лет,
непоправимо ранен женской долей,
и след ее,
как ответ и как свет,
как марево над утренней рекою,
стоит почти за каждою строкою,
когда-либо написанною мной?..
Таков рассказ. Его сюжет сквозной.
О чем же он? О женщине. Одной.
(И не одной.)

Навязчивый сюжет,
томящий мою душу столько лет,
неумолимо мне повелевая —
пиши меня,
я вечный твой рассказ,
пиши меня
(не просьба, а приказ),
я боль твоя,
я точка болевая!..

И я пишу.
Всю жизнь его пишу.
Пишу, пока живу. Пока дышу.
О чем бы ни писал —
его пишу,
ни на мгновение не переставая.

Рубеж

Из старой тетради

Травка в окопе жесткая и шершавая.
Летное небо, невыносимо синее.
Пьем скупыми глотками болотную воду ржавую,
и от этого жажда становится невыносимее.
А ведь есть где-то реки (то ли Волга, а то ли Висла),
вода родниковая зябкая, как ветер рассвета.
Но раскаленное солнце над нами повисло
и снижается медленно, как осветительная ракета.
А она смеется над нами – вода без меры и счета.
Стороной идут облака, черные и горбатые.
Раненый просит воды, поминая бога и черта,
но раскаленное солнце медленно, медленно падает.
И когда мы вылезим на бруствер, и бежим по песку
прибрежному,
и немцы бросаются вплавь, не надеясь на нашу милость,
чувствую я, что солнце висит над нами по-прежнему,
но что-то такое в мире переменялось.
Это воде возвращается ее изначальная ценность.
Волны зализывают кровь на песке и следы.
И мир, на части разрозненный, вновь обретает цельность
и вновь состоит из простых вещей – из солнца, земли,
воды.

«Не там, где сходятся...»

Не там, где сходятся,
где встреча
и на ромашках ворожат,
где, губ не пряча,
не переча,
уже собой не дорожат, —
совсем не там,
а много позже
есть час,
незнаемый тобой,
где две судьбы,
еще не схожих,
одной становятся судьбой.
А до того,
в горах плутая,
на крутизну,
под облака
тебя ведет тропа крутая,
не проторенная пока.
Секут дожди и почву месяц,
грозя обвалами камней.
...Который год,
который месяц
иду к тебе,
а ты ко мне.

О, как тропа моя извита,
и ты на ней
в иные дни
то вдруг теряешься из виду,
а то —
лишь руку протяни.
И снова пропасть под ногами
непостижимой глубины,
и равнодушными снегами
мы, как стеной,
разделены.
В пути застигнуты пургою.
С дороги сбились.
Но весной
все начинается другою,
неповторимой новизной.
И я смеюсь над буревалом,
где страх меня одолевал,
где я грустил,
за перевалом
увидев новый перевал.
Ломая кромку ледяную,
опять бежит моя тропа
туда, где сходится вплотную
с твоей судьбой
моя судьба.

«Моя любовь к тебе – как горная вершина...»

Моя любовь к тебе – как горная вершина
или волна солоноватая морская.

Все, чем я жил и чем живу, она вершила,
ни на минуту от себя не отпуская.

Я видел, как она растёт и как шагает,
то сокрушительна, а то нетороплива.

Она то стужей леденит, то обжигает,
пора прилива у нее, пора отлива.

Она не бросит ни за что, но и не просит
бежать за ней, когда за дверью непогода.

Она раскинется тайгой, где нету просек,
а то прикинется рекой, где нету брода.

А ты все так же дорожишь лишь небом синим.

Зачем ты веришь в эту ложь, не понимаю,
и так растерянно дрожишь под небом зимним,
и так испуганно живешь от мая к маю.

«С мокрой травы в лесу...»

С мокрой травы в лесу стряхиваю росу.
Хочешь, стихотворенье из лесу принесу?
В комнате, еще темной, чмокнешь во сне губами.
Земляникою пахнет теплой? Сеном? Или грибами?
Где-то кузнец стрекочет, травинка щеку щекочет —
тебя разбудить от солнца стихотворенье хочет.
А ты все не просыпаешься, все ты не просыпаешься,
одними губами сонными медленно улыбаешься:
«Что, мол, опять за шалости? Нет в тебе, видно, жалости!
Где же черты солидности, признаки возмужалости?..»
Все это знаю издавна — не к чему повторенье.
Тихо выходим из дому — я и стихотворенье.
Мутную тишь дремотную ранняя птаха будит.
Нет у меня солидности, видимо — и не будет.
Дачу еще не выстроил, не обзавелся чином.
Толстую палку выстрогал ножиком перочинным.
Иду не спеша, помалкиваю, палкой своей помахиваю,
с мокрой травы в лесу стряхиваю росу.

«Не бойся явных – бойся тайных тюрем...»

Не бойся явных – бойся тайных тюрем.
В одну из них тебя еще заманят.
Застенчивыми шторами и тюлем
решетки откровенные заменят.
А там шкафы, насупленные, строже,
чем стражники, глядящие из мрака.
А там слоны поставлены, как стражи,
на подписные томики Бальзака.
Крепка тахта, окованная плюшем, —
как в прочности семейной заверенье.
...Приходим в гости. Ужинаем. Пляшем.
Благодарим хозяйку за варенье.
От музыки подрагивает горка,
поставленная в узенький простенок.
О, сладкое варенье! О, как горько
от медленно играющих пластинок!
О, ханжество тюремного комфорта,
где пахнет прошлогоднею сиренью
и газовая высится конфорка,
как памятник забытому горению!
Похвальность добродетельности верной —
не все равно ли, с милым ли, не с милым!
...А на углу уже торгуют вербой.

Она тревожит запахом несмелым.
Она бела, как твой домашний кафель.
Две ветки покупаю наудачу
и, маленькие, влажные от капель,
несу в твою тюрьму, как передачу.

«Лес лопочет у окна...»

Лес лопочет у окна в полудреме.
Женщина живет – одна в чужом доме.
Дом не брошен, не забит. Войди в сени —
и почувствуешь: забыт, забыт всеми.
Полумрак и тишина, ничего кроме.
Женщина живет – одна в чужом доме.
На диване дремлет кот ожирелый.
Муж ей дарит в Новый год ожерелье.
Он ей много покупал, много купит.
Тянутся к ее губам его губы.
Занавешено окно, постель постлана.
Все вокруг занесено. Уже поздно.
Лес бормочет у окна в ночной дреме.
Женщина живет – одна в чужом доме.

«Как медленно тебя я забывал!..»

Как медленно тебя я забывал!
Не мог тебя забыть, а забывал.
Твой облик от меня отодвигался,
он как бы расплывался, уплывал,
дробился, обволакивался тайною
и таял у неближних берегов —
и это все подобно было таянью,
замедленному таянью снегов.
Все таяло. Я начал забывать твое лицо.
Сперва никак не мог глаза твои забыть,
а вот забыл, одно лишь имя все шепчу губами.
Нам в тех лугах уж больше не бывать.
Наш березняк насупился и смолк,
и ветер на прощанье протрубил
над нашими печальными дубами.
И чем-то горьким пахнет от стогов,
где звук моих шагов уже стихает.
И капля по щеке моей стекает...
О, медленное таянье снегов!

Румынские цветы

Из старой тетради

Пропыленные клены и вязы.
Виноградные лозы в росе.
Батальоны врываются в Яссы
и выходят опять на шоссе.
Здесь история рядом творится.
И, входя в неизбежную роль,
нас державные чествуют лица
и приветствует юный король.
Сквозь цветы и слова величальные
мы идем, сапогами пыля,
и стоят генералы печальные
за спиной своего короля.
Астры падают справа и слева,
и, холодные хмуря черты,
напряженно глядит королева
на багровые эти цветы.

«К морю стремился...»

К морю стремился, морем дышал на юге.
Но когда мое сердце слушать начнут врачи —
они услышат отчетливо посвист выюги
и голос филина, ухающего в ночи.
Бьет кабарга копытцами дробно-дробно.
Бьется над логом сохатого трубный зов.
Это Сибирь в груди моей дышит ровно
всей протяженностью древних своих лесов.
Это во мне снега по весне не тают
и ноздреватый наст у краев примят.
Птицы Сибири в груди у меня летают.
Реки Сибири в крови у меня гремят.
Это во мне медведи заводят игры,
грузно кряжи качаются на волне.
Ветер низовый. Кедры роняют иглы.
Хвойные иглы — это во мне, во мне.
Это во мне поднялся и не стихает
ветер низовый, рвущийся напролом.
Смолка по старой лиственнице стекает.
Бьет копалуха раненая крылом.
Я ухожу из выюги, из белой выюги.
Лодка моя качается на волне.
Еду куда-то. Морем дышу на юге.
Белые выюги глухо гудят во мне.

«Где-то в городе белом...»

Где-то в городе белом, над белой рекой,
где белеет над крышами белыми дым
и от белых деревьев бело —
в этот час по ступеням, как горы, крутым,
как его пролетевшие годы, крутым,
поднимается он тяжело.

Он в передней привычно снимает пальто,
и никто не встречает его, и никто
с ним не делит его вечеров.

Здесь когда-то его обнимала жена,
а теперь обнимает его тишина
этих белых, как снег, вечеров.

А на двери – железная ручка звонка
и железные буквы – над ручкой звонка
полукругом – «Прошу повернуть!».

А друзьям недосуг – не звонят, не стучат,
и весь вечер железные буквы кричат:
повернуть! повернуть! повернуть!

Надо срочно по улицам белым бежать,
поскорее заставить звенеть, дребезжать
позабитый друзьями звонок.

Второпях пробегаем знакомый звонок,
а потом покупаем в складчину венки,
а всего-то был нужен звонок.

«Как я спал на войне...»

Как я спал на войне, в трескотне и в полночной возне,
на войне, посреди ее грозных и шумных владений!

Чуть приваливался к сосне – и проваливался. Во сне
никаких не видал сновидений.

Впрочем, нет, я видал. Я, конечно, забыл – я видал.

Я бросался в траву между пушками и тягачами,
засыпал, и во сне я летал над землею, витал
над усталой землей фронтовыми ночами.

Это было легко – взмах рукой, и другой,
и уже я лечу (взмах рукой!) над лугами некошеными,
над болотной кугой (взмах рукой!), над речною дугой
тихо-тихо скриплю сапогами солдатскими кожаными.

Это было легко. Вышина мне была не страшна.

Взмах рукой, и другой – и уже в вышине этой таешь.

А наутро мой сон растолковывал мне старшина.

– Молодой, – говорил, – ты растешь, – говорил, – оттого
и летаешь...

Сны сменяются снами, изменяются с нами.

В мягком кресле с откинутой спинкой и белым чехлом
я дремлю в самолете, смущаемый взрослыми снами
об устойчивой, прочной земле с ежевикой, дождем и
щеглом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.